

# КОНСТАНТЫ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

Романтическое и мужественное начало присуще поэзии Константина Симонова – поэзии, столь же чуждой рефлексии, как и абстракции; наполненной только словами значимыми, круглыми, как галька:

Здесь нет ни остролистника, ни тиса.  
Чужие камни и солончаки,  
Проржавленные солнцем кипарисы  
Как воткнутые в землю тесаки.

Тесак критического суждения не просунуть между строк – всё сделано без зазора:

И спрятаны под их худые кроны  
В земле, под серым слоем плитняка,  
Побатальонно и поэскадронно  
Построены британские войска.

Даже доброта, кажется, чужда мировосприятию Симонова:

Иной, всего превыше  
Боясь толчка под рёбра,  
Такого друга ищет,  
Чтоб был, как вата, добрый.

Впрочем, без доброты, как и без света, невозможно существование, и доброта мира – в частности – выражается в том, что люди получают различные дары.

Дар Симонова – некогда знаменитого, как бывали разве что космонавты и футболисты, – был немалым: вполне разнообразным, иногда жёстким от мускульной силы строки, порой – расплавленным от страсти.

Поэзия или проза наиболее полно характеризует его дар?

Думается и та, и другая в равной степени, однако, всё же поэзия в большей мере связана с исповедальностью, с тою линией, следуя которой можно понять человека лучше всего.

И поэзия Симонова наблюдательна, это поэзия точного взгляда и уверенных выводов:

Когда ты по свистку, по знаку,  
Встав на растоптанном снегу,  
Готовясь броситься в атаку,  
Винтовку вскинул на бегу,  
Какой уютной показалась  
Тебе холодная земля,  
Как всё на ней запоминалось:  
Примёрзший стебель ковыля,  
Едва заметные пригорки,  
Разрывов дымные следы,  
Щепоть рассыпанной махорки  
И льдинки пролитой воды.

Конкретика предметов, их необыкновенная связанность между собой, дуговая всеохватность всеобщности точно поднимает поэтическое суждение на новую высоту, делая его более значимым.

...Все реки впадают в большие резервуары; все поэты приближаются к мере и осознанию всеобщности.

В плеске и блеске разнообразно представленной жизни – хоть в шашлыке, политым лимоном и запитым вином, хоть в атаке, раскиданной по снегу, хоть в картинах, нарисованных строчками, – разлито столько общечеловеческого, что поэзия Константина Симонова словно поднимается к облакам...

Искусство перевода сродни пересадке на новую почву непривычных растений, и тут одно случайное движение способно нарушить корни, отменяя жизнь цветения.

Симонов как переводчик был крайне аккуратен по отношению к корням – к сущностному, основному.

Его Видади, звуча своеобразным, в орнаментах красивых запутанным Востоком, цвёл русским смыслом, внося в пространный пантеон русского стиха живое благоухание грустных грёз.

Ряд переводов из Киплинга можно обозначить как чудо: ибо и «Дурак» и «Гиены» несут в себе подлинный огонь.

Их много, переливающихся ярко, заключённых в каждой строфе.

Собственный стиль, своя манера стиха точно уходили из симоновских переводов, и жила другая экзистенция, благородная и страшная, жизненная, связанная с иными культурами – и уже принятая культурой русской.

## МЕРА МИХАИЛА ЛУКОНИНА

Ритм должен рваться, трепыхаться, биться, как полотнище на ветру: иначе выразишь разве движение века?

Лето моё началось с полёта,  
Зима началась в «Стреле»,  
Лёгкое, белое, беглое что-то  
Наискосок слетало к земле.  
Ночью к окну подплыло Бологое,  
Но виделся памятный край,  
К горлу прихлынуло всё дорогое  
С просьбой: «Не забывай!».

Стих Михаила Луконина чужд плавности, закруглённости, ибо слишком не плавной была жизнь, сквозь которую пролетали обожжённые ленты военной трагедии: и трагедии надо было противостоять, более того, надо было, выжив, победить.

Хорошо перед боем,  
Когда верится просто  
В то, что встретимся двое,  
В то, что выживем до ста.

Опыт военных лет совмещает крест и будничность работы, наждачная правда жизни раскрывается так, как и не должна бы была, да что делать...

Только уповать:

В то, что с тоненьким воем  
Пуля кинется мимо.  
В то, чему перед боем  
Верить необходимо.

Ибо вера военных лет специфична, но без неё не выдюжить в предложенных панорамах яви...

...Порою в стихотворении, вроде бы не имеющем отношения к искусству, вдруг вспыхивает афоризм, нечто в сущности одного проясняющий:

А, может, чтобы жило искусство,  
Нужны на свете такие боли?

Много строчек-формул, строчек-определений разбросано по поэтическим полям Михаила Луконина: полям щедрым, продуваемым разными ветрами жизни; полям, густо исхоженным поэтом, многое сумевшим понять, и выразить понятое в стихах жёстких и чётких, порою нежных, и... безбрежных.

## ПРАВДА МИХАИЛА КУЛЬЧИЦКОГО

Крест и соль солдатского труда выражены Михаилом Кульчицким с такою силой, что какие-либо иные толкования, кажется, исключаются:

Война – совсем не фейерверк,  
а просто – трудная работа,  
когда,  
        черна от пота,  
вверх  
        скользит по пахоте пехота.

Именно работа, даже более весомое, резкое, сильное слово «труд» не использует Кульчицкий, хотя определяет работу, как трудную.

Разумеется, какую ей ещё быть, когда смерть из тени превращается в плотное, хотя и незримое образование, ждущее жертвы каждый момент.

Соль, сущностное, основное – всего этого много в небольшом, но таком ярком наследии Михаила Кульчицкого; нет в нём игры: совсем, никогда – ибо жизнь всерьёз.

И стихи всерьёз – иначе они превращаются в лёгкий досуг, праздную забаву, филологические игрища.

Не велико наследие Кульчицкого, но и не могло быть иным: тяжёлая работа войны часто завершается смертью; не велико, но сущностно, значительно, многонасыщенно:

Дуют ветры дождевые  
Над речной осокой.  
Щорса цепи боевые  
Держат фронт широкий.

Цепкий, хищный взгляд поэта чётко фиксирует действительность, не допуская ничего лишнего, избыточного; исключая рыхлость поэтической фактуры.

Много страшного – даже не горького: именно страшного в стихах Кульчицкого, но иначе – было бы не по правде, а правда его: обнажённая, бьющаяся нервом.

Сквозной онтологический ветер продувает стихи Кульчицкого: и словно он и определяет невозможность лишнего ни в какой строке.

Но он, просвистанный, словно пулями роца,  
Белыми посаженный в сумасшедший дом,  
Сжигал  
        свои марсианские очи,  
Как сжёл для ребёнка свой лучший том.

Так – о Хлебникове: вольном дервише русской поэзии, не знавшем имущества, как солдат; так – приводится пример подлинности, которую невозможно подделать, какой так не хватает в наше шальное и шаловливое время.

Жизнь – чтобы отдавать, как отдавал Хлебников, как отдавал Кульчицкий: свой дар, свои стихи, свою жизнь, не знавшую ложного жира. И выделив в капсулу смысла самое страшное в мире, Кульчицкий писал:

Самое страшное в мире –  
Это быть успокоенным.  
Славлю мальчишек смелых,  
Которые в чужом городе  
Пишут поэмы под утро,  
Запивая водой ломозубой,  
Закусывая синим дымом.

За успокоением: мещанский достаток, эра эгоизма, погань прагматики...

Никакого творчества.

Чья суть – помимо основы: таланта – раздаривание себя: щедрое, как делает это дождь.

А время сохранит: и образ, и стихи...

И всё же, думается, лучший документ, оставленный Михаилом Кульчицким – это военные его стихи.

# СЛОЖНАЯ ПРОСТОТА СЕМЁНА ГУДЗЕНКО

Для поэта поэзия, казалось бы, самая значительная высота, однако...

Поэт-солдат, чьи образы усложнены беспрецедентным опытом, и реальность будет воспринимать сквозь окуляр мужества, поэтому строфы Семёна Гудзенко читаются столь же закономерно, сколь... несколько презрительно к тем сочинителям, кто «пороха не нюхал»:

Быть под началом у старшин  
хотя бы треть пути,  
потом могу я с тех вершин  
в поэзию сойти.

Поэзия Гудзенко резкая, выпуклая, вещественная: будто чувствуется краткость предстоящей жизни, и на всякие поэтические рассусоливания жалко времени; поэзия простая в сложности, ибо узнать то, что довелось узнать представителям поколений, к которым принадлежал Гудзенко, – как заглянуть в бездну.

Но бездна рвётся конкретными снарядами и разлетается смертельными веерами пуль:

Я в гарнизонном клубе за Карпатами  
читал об отступлении, читал  
о том, как над убитыми солдатами  
не ангел смерти, а комбат рыдал.

Ангел смерти – далёкий и абстрактный; а комбат – всегда комбат: в чём-то отец, в чём-то равный солдату...

И то, какую конкретикой завершается для уцелевших бой:

Бой был коротким. А потом  
глушили водку ледяную,  
и выковыривал ножом  
из-под ногтей я кровь чужую –

обжигает сознание не прикасавшихся к военному опыту.

Сух и жёсток мир Семёна Гудзенко, тяжёл космос данных им стихов, но сумма их – великолепный документ таланта и мужества: в сущности, наиважнейших человеческих качеств.

## ДОЛЯ И ДАР ЮЛИИ ДРУНИНОЙ

...Ибо концентрация военной правды и боли, соли ужаса войны и кристаллов мужества, что прирастают этой солью, может быть дана в одном четверостишии:

Я столько раз видала рукопашный,  
Раз наяву. И тысячу – во сне.  
Кто говорит, что на войне не страшно,  
Тот ничего не знает о войне.

Лента военных лет – коли опалила сознание – останется навсегда, будет томить и обвивать душу, и если участник войны – поэт, он не может не выхлестнуться рваными краями сей ленты в стихи.

И то, что четверостишие Юлии Друниной грандиозно, свидетельствует о великих её поэтических возможностях: четверостишие вибрирует, заставляя чувствовать то, что, казалось бы, не в силах ощутить человек, на войне не бывавший.

О, конечно, Друнина прежде всего лирик:

А я для вас неуязвима,  
Болезни, годы, даже смерть.  
Все камни – мимо, пули – мимо,  
Не утонуть мне, не стореть.  
Всё это потому, что рядом  
Стоит и бережёт меня  
Твоя любовь – моя ограда,  
Моя защитная броня.

Лирик с трепетом тонких строк, чья поступь – точно движения кошки; и вместе лирик, считающий возможным в стихотворении о любви упомянуть броню (отблеск войны), какое слово вроде бы совсем не подходит к теме...

«Царица бала» и «Царевна», «Шторм» и «Я курила недолго» – нити стихов соплетаются в общий свод творимого Друниной – иногда тяжело, иногда с лёгкостью бабочки; кристаллы строк вспыхивают на солнце времени, а соль их остаётся белой, как бы ни пытались прыскать грязью нелепые годы нашей современности; и Юлия Друнина создала, живя стихом, до тех пор, пока нечто не перекрыло питающий канал, погрузив её во тьму самой страшной трагедии для поэта: творчество теряет смысл.

Только не теряют оно стихи – оставаясь мерцать живущими искрами и полосками света, изъятыми из сердца поэта.

## ЗОЛОТЫЕ КАПЛИ АЛЕКСЕЯ НЕДОГОНОВА

Весьма интересно в стихотворении «Камень» Алексей Недогонов концентрирует капли мудрости эзотерического толка, едва ли популярной в Советском Союзе, верным сыном которого он был; тут в сгустке камня, точно в призме – мерно мерцают блёстки тайнознания:

Водою горной камень точится,  
потом в пылинку превращается;  
ему лететь, как прежде, хочется;  
он снова к звёздам возвращается.  
Он старца-астронома радует  
несмелой искрой появления  
и снова метеором падает,  
след оставляя на мгновение.

И падение может быть светлым – прочертить яркий след, заиграть приглушённым смыслом. В котором, при ближайшем рассмотрении, и окажется суть.

Разным насыщены стихи Недогонова – иногда их исполняет чистое лирическое дыхание: так, будто поэт и не особенно участвует в сочинении:

Осыпаются клёны.  
– Анна!  
К синю морю ушли дожди;

ты меня на рассвете рано  
обязательно разбуди.  
Я уйду.  
И под небом белым  
буду тихо бродить, дрожать;  
только б сердцем, глазами, телом  
осень жёлтую ощущать...

Порою они слишком конкретны, и будто бы не поэтичны, оставаясь, разумеется, в пределах смысловых границ и поэтического мастерства:

От зари и до зари  
через сотни синих рек,  
сквозь чужие пустыри  
едет, едет человек.  
Тишина оглушена,  
бьют копыта в тишине:  
едет, едет старшина  
по Европе на коне.

Но всегда их вектор – устремление к высоте, которая такой блестящей серебряной пылью просыпалась в стихотворении «Камень».

## СЛОВЕСНОЕ НЕБО НИКОЛАЯ МАЙОРОВА

Рваные ритмы раннего Майорова складывались в зигзагообразный рисунок стиха: уверенный и причудливый, весёлый и задорный, как сама молодость:

Я шёл, весёлый и нескладный,  
Почти влюблённый, и никто  
Мне не сказал в дверях парадных,  
Что не застёгнуто пальто.

Молодость бушует и пенится, и жизни в молодого человека налито до краёв, хоть отбавляй – впрочем, её и отбавляют стихи.

Он и не узнал возрастной зрелости – Николай Майоров, политрук пулемётной роты, погибший в 22 года, похороненный в братской могиле; он продемонстрировал поэтическую зрелость стихами, опубликованными после смерти.

В «Смерти революционера» помимо языковой плотности и сущностной насыщенности через щёлк и игру существительных прорастают корни глубины, тянутся нити осознания собственной доли: через мальчишеский романтизм до отказа от страха смерти:

Не так ли он при свете ночника  
Читал мальчишкой страшные романы,  
Где смерть восторженно прытка,  
Как разговор, услышанный с экрана.  
Он не дошёл ещё до запятой,  
А почему-то взоры соскользали  
Со строчки той, до крайности крутой,  
В которой смерть его определяли.

Разумеется, нет поэзии без порыва к небу, без ощущения высоты, когда не запредельности:

И надписи отгранивать им рано –  
Ведь каждый, небо видевший, читал,  
Когда слова высокого чекана  
Пропеллер их на небе высекал.

Так, лётчики оставляют по себе памятник в небесных далях, не нуждаясь в заурядных, земных, каменных глыбах.

Так поэт, познавший опалённую ленту войны, будет писать, суммируя крохотный свой – и такой огромный – опыт жизни:

Я не знаю, у какой заставы  
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,  
Не коснувшись опоздавшей славы,  
Для которой песни я пою.  
Ширь России, дали Украины,  
Умирая, вспомню... И опять –  
Женщину, которую у тына  
Так и не посмел поцеловать.

Будет писать аскетично просто, достигая той гармонии, которая исключает неподлинность, и которая, выстраивая краткие строки, переполненные пониманием жизни, позволит стихам алмазами прорезать горы грядущей читательской памяти.